
В.А. Воропаев

Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)

Начало пути.....	1
Литературная слава	3
Главная книга.....	5
На дорогах Европы.....	7
Литературная проповедь.....	10
Иерусалим	13
Думы об Афоне.....	16
Оптина Пустынь	17
Троице-Сергиева лавра	21
Последние дни	23
Тайна второго тома.....	25
Завещание.....	30

Начало пути

20 марта (1 апреля по новому стилю) 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье помещиков среднего достатка Василия Афанасьевича и Марии Ивановны Гоголь-Яновских родился сын Николай. Два дня спустя младенец был крещен в местной Спасо-Преображенской церкви настоятелем отцом Иоанном Беловольским. Мать Гоголя, у которой двое детей перед тем умерло, едва появившись на свет, дала обет перед чудотворным образом святителя Николая, называемым Диканьским, если будет у нее сын, наречь его Николаем, и просила местного священника молиться до тех пор, пока его не известят о рождении дитяти и попросят отслужить благодарственный молебен. Испрошенный молитвой, новорожденный Николай был встречен в этом мире молитвой благодарения Богу. По словам сестры писателя, Ольги Васильевны Гоголь-Головни, брат ее любил вспоминать, почему назвали его Николаем.

Среди предков Гоголя были люди духовного звания: прадед его по отцовской линии был священником, дед закончил Киевскую духовную академию, а отец — Полтавскую семинарию. Мария Ивановна отличалась глубокой набожностью. Любимым занятием в семье было хождение по монастырям и святым местам. Отголоски этой склонности к паломничеству слышны в ранней прозе Гоголя: «Что ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу я, право, перед Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. Когда-нибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами, Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Будем молиться и ходить по святым пещерам» («Страшная месь», черновой автограф, 1831).

В семье Гоголь получил первые начатки веры. В письме к матери из Петербурга от 2 октября 1833, говоря о воспитании своей младшей сестры Ольги, он замечал: «Внушите ей правила религии. Это фундамент всего». И далее Гоголь вспоминает один случай, навсегда оставшийся в его памяти:

«Я просил вас рассказать мне о Страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли».

При поступлении в Нежинскую гимназию высших наук в 1821 двенадцатилетний Гоголь обнаружил хорошие познания только по Закону Божию, по другим же предметам оказался подготовленным весьма слабо. В гимназии он, очевидно, пережил характерный для части юношества того времени период вольнодумства, чему в немалой степени способствовали нежинские профессора, открыто богохульствовавшие на лекциях и экзаменах. По воспоминаниям школьных приятелей, ему случалось неуважительно отзываться тогда о духовенстве, порицать несоответствующее сану поведение. Вольные высказывания о предметах священных можно встретить и в его письмах петербургского периода.

В то же время именно Нежин, по всей видимости, во многом определил характер духовного образования Гоголя. Законоучитель гимназии протоиерей Павел Вольтинский, помимо преподавания катехизиса и Священной истории с географией Святой Земли, читал в старших классах своеобразный курс нравственного богословия, знакомя учеников с творениями святых отцов и учителей Церкви.

Ко времени пребывания Гоголя в гимназии относятся и его первые литературные опыты. Наиболее значительный из них — поэма «Ганц Кюхельгартен», напечатанная отдельным изданием в 1829 под псевдонимом В. Алов. После отрицательных отзывов в печати Гоголь забрал все экземпляры из книжных лавок и сжег. Это издание ныне представляет собой библиографическую редкость.

Надо сказать, что школьные товарищи Гоголя были невысокого мнения о его литературных способностях, особенно в области прозы. «В стихах упражняйся, — советовал ему Константин Базили, — а прозой не пиши: очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно». Да и сам Гоголь, кажется, склонялся в то время больше к стихам, чем к прозе.

«Первые мои опыты, — вспоминал он много лет спустя в «Авторской исповеди», — первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим...»

Зато в театральных представлениях Гоголю как актеру не было равного.

«Все мы думали тогда, — вспоминал один из воспитанников гимназии Тимофей Пашенко, — что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный талант и все данные для игры на сцене...»

Особенным успехом Гоголь пользовался в роли госпожи Простаковой из фонвизинского «Недоросля». Константин Базили рассказывал впоследствии: «Видел я эту пьесу в Москве и в Петербурге, но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь».

Любовью к сцене Гоголь проникся еще в детстве, когда бывал в Кибинцах — имении богатого родственника и соседа Д.П. Трощинского, у которого был свой крепостной театр. Здесь ставились, между прочим, пьесы Гоголя-отца. Известны две его бытовые комедии на украинском языке: «Собака-вівца¹» и «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом». Мать Гоголя рассказывала в своих воспоминаниях:

«Муж мой писал много стихов и комедий в стихах на русском и малороссийском языках, но сын мой все выпросил у меня <...> и у меня не осталось ничего на бумаге...»

В гимназии Гоголь держался особняком и не отличался особенным прилежанием. Учитель латинского языка И.Г. Кулжинский, единственный педагог, оставивший о Гоголе

¹ Вівца — овца (укр.).

свои воспоминания, сообщает: «Он учился у меня три года и ничему не научился <...> Во время лекций Гоголь всегда, бывало, под скамьей держит какую-нибудь книгу и читает <...> Это был талант, не узанный школою, и, ежели правду сказать, не хотевший или не умевший признаться школе».

Сверстники прозвали Гоголя *Таинственным Карлой* в связи с одноименным романом Вальтера Скотта, изданным на русском языке в 1824. Главный герой романа — таинственный карлик Элши — одинокий мечтатель, преследуемый сознанием собственного несовершенства и боязнь стать посмешищем для окружающих. В письме из Нежина в октябре 1827 Гоголь признавался своему двоюродному дяде Петру Косяровскому:

«Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло выявить глубь души моей. Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя, не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком? Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных».

Ни мимолетное вольнодумство, ни сценические успехи не охладили теплой веры Гоголя в Бога. Так, его школьный приятель Василий Любич-Романович вспоминал, что он в церкви «молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служба сам себе отдельную Литургию¹...».

Милосердие, привитое Гоголю в семье, было истинно христианским и впоследствии лишь укреплялось в его душе. По рассказам нежинских соучеников, Гоголь еще в школьные годы никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, и если нечего было дать, то всегда говорил: «Извините». Однажды ему даже случилось остаться в долгу у одной нищенки. На ее слова: «Подайте Христа ради» он ответил: «Сочтите за мной». И в следующий раз, когда та обратилась к нему с той же просьбой, он подал ей вдвойне, добавив при этом: «Тут и долг мой».

Смерть отца, последовавшая 31 марта 1825, стала одним из самых сильных потрясений в жизни юного Гоголя — ему только что исполнилось шестнадцать лет. Он пишет матери из Нежина письмо, в котором предельное отчаяние («Хотел даже посягнуть на жизнь свою») переходит в глубокую покорность воле Божией:

«Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. <...> Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести!»

С этих пор определяется одна из главных черт мирозерцания Гоголя: уже никогда не оставляет его мысль о неизбежности смерти. Много позднее, в январе 1847, он в письме объяснял матери и сестрам причины, побудившие его напечатать в «Выбранных местах из переписки с друзьями» свое завещание:

«Сверх того, что это было необходимо в объяснение самого появления такой книги, оно нужно затем, чтобы напомнить многим о смерти, о которой редко кто помышляет из живущих. <...> Если бы вы истинно и так, как следует, были наставлены в христианстве, то вы бы все до единой знали, что память смертная — это первая вещь, которую человек должен ежеминутно носить в мыслях своих. В Священном Писании сказано, что тот, кто помнит ежеминутно конец свой, никогда не согрешит».

Литературная слава

После переезда в Петербург Гоголь погружается в литературную жизнь, переживает первые неудачи и успехи. Но несмотря на внешнюю занятость, в нем проглядывает постоянное недовольство суетой, желание иной, внутренней и собранной жизни. В этом смысле очень показательны его раздумья в «Петербургских записках 1836 года»:

«Спокоен и грозен Великий пост. Кажется, слышен голос: “Стой, христианин; оглянись на жизнь свою”. На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы!»

¹ *Литургия* (обедня) — главное богослужение Православной Церкви, установленное Иисусом Христом на Тайной вечери. Во время Литургии совершается таинство Евхаристии, то есть причащение Тела и Крови Спасителя под видом хлеба и вина.

Подлинным литературным дебютом Гоголя стали «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Часть 1. 1831; Часть 2. 1832), принесшие ему известность. Одобрительно отозвался о них Пушкин.

«Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности, – писал он литератору Александру Воейкову в конце августа 1831. – А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился».

И далее Пушкин передает эпизод, рассказанный ему самим Гоголем:

«Мне сказывали, что когда издатель зашел в типографию, где печатались “Вечера”, то наборщики стали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор¹ объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу».

Сочинение начинающего автора понравилось не только наборщикам, но и Государыне Императрице. Все свои книги, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Гоголь преподносил членам Царствующего Дома и самому Императору. Это было данью от чистого сердца русского подданного, убежденного монархиста, не изменившего своему убеждению до конца жизни.

В начале 1835 Гоголь издал сборник «Арабески», куда вошли и научные (исторического характера) статьи, и «Миргород» (в двух частях), который явился продолжением «Вечеров...». Белинский провозгласил Гоголя *главой русских поэтов*. Через год на сцене был поставлен «Ревизор», который принес его автору славу драматического писателя.

В пьесе многие видели карикатуру на российское чиновничество, а в ее авторе — бунтовщика. По словам С.Т. Аксакова, были люди, которые возненавидели Гоголя из-за «Ревизора». Так, граф Федор Толстой (по прозвищу Американец) говорил в многолюдном собрании, что Гоголь — «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь».

Между тем достоверно известно, что комедия была дозволена к постановке (а следовательно, и к печати) вследствие Высочайшего разрешения. «Если бы не высокое заступничество Государя, – писал Гоголь Михаилу Щепкину в апреле 1836, – пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее». Император Николай Павлович не только сам присутствовал на премьере, но велел и министрам смотреть «Ревизора». Во время представления он хлопал и много смеялся, а выходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!»

Гоголь надеялся встретить поддержку царя и не ошибся. Вскоре после постановки комедии он отвечал в «Театральном разъезде» своим недоброжелателям: «Великодушное правительство глубже вас прозрело высоким разумом цель писавшего».

В 1842 вышли в свет поэма «Мертвые души» и собрание сочинений Гоголя в четырех томах. Здесь впервые были напечатаны новая расширенная редакция «Тараса Бульбы», а также «Шинель» — последняя из написанных Гоголем повестей. По сути, к 1842, когда ему исполнилось тридцать три года, Гоголь создал и напечатал практически все свои художественные произведения, — как писатель он сформировался почти сразу.

В конце жизни Гоголь задумал новое издание своих сочинений в пяти томах. Печатание было начато осенью 1851 сразу в трех московских типографиях и прервано смертью автора.

Раннее творчество Гоголя, если взглянуть на него с духовной точки зрения, открывается с неожиданной для обыденного восприятия стороны: оно не только собрание веселых рассказов в народном духе, но и обширное религиозное поучение, в котором происходит борьба добра со злом, и добро неизменно побеждает, а грешники наказываются. Сатана связан и предан на посмеяние («Ночь перед Рождеством»), бесы посрамлены («Сорочинская ярмарка»), нечистая сила обезврежена и порок наказан («Вий»). Эта же борьба, — но уже в более утонченной форме, иногда со злом невидимым, —

¹ Фактор — распорядитель работ в типографии.

явлена и в «Петербургских повестях»; как прямая защита Православия предстает она в «Тарасе Бульбе».

Самое известное комедийное произведение Гоголя — «Ревизор» — имеет глубокий морально-дидактический смысл, раскрытый автором в «Развязке Ревизора» (1846):

«Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что этакое города нет во всей России <...> Ну, а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас? <...> Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя».

Такой же глубокий подтекст содержит и главное творение Гоголя — поэма «Мертвые души». На внешнем уровне она представляет собой череду сатирических и бытовых характеров и ситуаций, тогда как в окончательном виде книга должна была показать путь к возрождению души павшего человека.

Отражение духовной жизни Гоголя начала 1840-х можно найти во второй редакции повести «Портрет». Художник, создавший портрет ростовщика, решает уйти из мира и становится монахом. Приуготовив себя подвижнической жизнью отшельника, он возвращается к творчеству и создает картину, которая поражает зрителей как бы исходящей из нее духовностью. В конце повести монах-художник наставляет сына: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится». Вторая редакция «Портрета», появившаяся в 1842 году, незадолго до выхода «Мертвых душ», свидетельствует, что Гоголь вполне сознательно шел по избранному пути религиозного осмысления искусства. В повести он как бы наметил программу своей жизни.

Если брать нравоучительную сторону раннего творчества Гоголя, то в нем есть одна характерная черта: намерение вести людей к Богу путем исправления их недостатков и общественных пороков — то есть путем внешнем. Вторая половина жизни и творчества Гоголя ознаменована направленностью к искоренению недостатков в себе самом. «Говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображенью, — справедливо утверждал Гоголь в «Авторской исповеди», — нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, — словом, нужно сделаться лучшим».

Главная книга

Судьба Гоголя как писателя неразрывно связана с поэмой «Мертвые души». Книга была задумана как величественное эпическое произведение в трех томах, обнимающее собой «всю Русь» и «все человечество в массе». Поэма осталась незавершенной: вышел в свет только первый том, и после смерти Гоголя были найдены черновые наброски отдельных глав второго. Это в значительной мере затрудняет постижение сокровенного, символического смысла произведения.

«Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет “Мертвых душ”, — писал Гоголь Александре Осиповне Смирновой. — Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах <...> Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покамест в душе у одного только автора».

Свою тайну Гоголь не унес с собой в вечную жизнь. В силу законов художественного творчества автор не в состоянии утаить своего «душевного дела». Ибо, как говорил сам Гоголь, «поэзия есть чистая исповедь души». Ключ к тайне «Мертвых душ» — в самой поэме.

Гигантский замысел соответствовал необъятности темы, положенной в его основу. Тема эта — духовное познание всей России. Начиная работать над вторым томом, Гоголь, живший тогда за границей, обращается к друзьям с неустанными просьбами присылать ему материалы и книги по истории, географии, фольклору, этнографии, статистике России. В письмах 1840-х он настойчиво проводит мысль, что для продол-

жения поэмы и достижения ее главной цели необходимо конкретное изучение русского быта, экономики, обычаев: «Велико незнание России посреди России».

Но главный путь к постижению России — познание природы русского человека. Каков же, по Гоголю, путь этого познания?

«Я видел ясно, как дважды два четыре, — писал он в «Авторской исповеди», — что прежде, покамест не определю себе самому определите ль оно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще...»

Однако познание «души человека вообще» оказывается невозможным без познания самого себя. Как писал Гоголь близко знакомому ему графу Александру Петровичу Толстому, «найди только прежде ключ к своей собственной душе, когда же найдешь, тогда этим же ключом отопрешь души всех». Таков путь, который предстоит преодолеть Гоголю в ходе осуществления своего замысла: познание России через русский национальный характер, человеческую душу вообще и свою собственную в частности. Так работа над «Мертвыми душами» стала для Гоголя его «душевым делом».

По Гоголю, национальный характер не что-нибудь раз и навсегда данное, неподвижное. Имея некоторые вечные черты, он формируется и видоизменяется под влиянием определенных географических и исторических условий.

«Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму, — говорил Гоголь, — еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней».

И потому главная задача — для художника национального масштаба, каким был Гоголь, — показать все «достоинства и недостатки наши», чтобы воспитать первые и избавиться от вторых.

Да и сама Россия мыслится Гоголем тоже в развитии, как и национальный характер. Мотив движения, дороги, пути пронизывает всю поэму. Действие развивается по мере путешествия Чичикова.

«Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, — вспоминал Гоголь, — что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров».

Дорога в поэме предстает прежде всего в своем прямом, реальном значении — это проселки, по которым колесит чичиковская бричка, — то ухабы, то пыль, то непролазная грязь. Огромны пространства России, здесь можно и заблудиться: Чичиков ехал к Собакевичу, попал к Коробочке, «дороги расплзались во все стороны, как пойманные раки...». В знаменитом лирическом отступлении одиннадцатой главы эта дорога с несущейся тройкой неприметно превращается в символический путь, по которому летит Русь среди других народов и государств. Неисповедимые пути русской истории («Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа») пересекаются с путями мирового развития: «Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносащие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины...» Кажется, что это те самые дороги, по которым плутает Чичиков. Символично, что из захолустья Коробочки Чичикова выводит на дорогу неграмотная девчонка Пелагея, не знающая, где право, где лево. Так и конец пути, и его цель неведомы самой России, движущейся неизвестно куда по какому-то наитию («мчится вся вдохновенная Богом!...»).

В образе дороги воплощен и житейский путь Чичикова («но при всем том трудна была его дорога...»), и творческий путь автора: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями...» Но самое главное — дорога символизирует собой путь духовного восхождения героев.

Один из любимейших символических образов Гоголя — образ лестницы (в церковнославянском — *лествицы*), имеющий богатейшую мировую традицию. Лестница — это,

собственно говоря, дорога вверх. В «Мертвых душах» она предстает в виде символической лестницы, ведущей человеческую душу к совершенству.

В движении, то есть в развитии, находится не только Россия, но и сам автор. Судьба его неразрывно связывается с судьбой поэмы и судьбой страны. «Мертвые души» должны были способствовать разрешению загадки исторического предназначения России и загадки жизни их автора. Отсюда — эта невыносимая творческая дерзость в патетическом обращении Гоголя к России: «Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Эти слова в свое время вызвали немало нареканий на автора. Но прав был Чернышевский, утверждая:

«Он имел полное право сказать это <...> давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России».

На дорогах Европы

В начале июня 1842, сразу после выхода из печати первого тома «Мертвых душ», Гоголь уезжает за границу — и там в его жизни начинает преобладать аскетическое настроение. Г.П. Галаган, богатый украинский помещик, впоследствии основатель Коллегии Павла Галагана — одного из лучших учебных заведений Южной России, живший в ту пору в Риме, вспоминал:

«...Гоголь показался мне уже тогда очень набожным. Один раз собирались в русскую церковь все русские на всенощную. Я видел, что и Гоголь вошел, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю, потому что в церкви было слишком душно, и там в полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникнутой головой. При известных молитвах он бил поклоны».

Гоголь принимается за систематическое чтение книг духовного содержания, оказывая преимущественное внимание святоотеческой литературе. Его письма первой половины 1840-х наполнены просьбами о присылке книг по богословию, истории Церкви, русским древностям. Друзья и знакомые шлют ему творения святых отцов, издаваемые Московской Духовной академией, сочинения святителя Тихона Задонского, святителя Димитрия Ростовского, епископа Харьковского Иннокентия (известного проповедника и духовного писателя), номера журнала «Христианское Чтение».

В «Авторской исповеди» Гоголь писал об этой эпохе своей жизни: «Я оставил на время все современное, я обратил внимание на у знание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустычника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека...»

Зимой 1843–1844 в Ницце Гоголь составил обширный сборник выписок из творений святых отцов. Тогда же у него появляется потребность глубже войти в молитвенный опыт Церкви. Результатом этой духовной жажды явилась толстая тетрадь переписанных им из служебных Миней церковных песней и канонов¹.

Эти выписки Гоголь делал не только для духовного самообразования, но и для предполагаемых писательских целей. В статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846) он, в частности, замечал: «Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рождение верховной трезвости ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов...» Тайна этого лиризма была открыта Гоголю и известна не понаслышке, а из личного опыта. Как явствует из содержания тетради, он

¹ *Служебная Миней* (месячная) — церковно-бо-гослужебная книга, содержащая службы святым и праздникам на все дни года. *Песнь* — церковное песнопение, молитва. *Канон* — церковная служба, состоящая из молитвенных песнопений.

внимательно прочел Минеи за полгода — с сентября по февраль — и сделал выдержки на каждый день.

Судя по всему, Гоголь искал путей к тому, чтобы стать духовным писателем в собственном смысле этого слова. Духовная, церковная литература несколько отличается от литературы светской, хотя между этими видами словесности имеются некоторые общие приемы, в том числе и художественные. Духовное творчество основывается на Священном Писании и имеет строго определенную цель, направленную к объяснению смысла жизни по христианскому вероучению. Писатель, взявшийся решать вопросы сокровенной жизни «внутреннего человека», сам должен быть православным христианином; должен иметь благословение на свои труды от архиерея или священника. Он также обязан основательно знать предшествующую традицию церковной литературы, которая корнями уходит в Святое Евангелие — источник духовного слова, резко отличающийся по своей направленности от начал, породивших художественную литературу. Наконец, для церковного писателя необходима живая вера в Промысл Божий, в то, что все во вселенной совершается по непостижимому замыслу ее Создателя. В своем позднем творчестве Гоголь приблизился именно к такому пониманию целей литературы.

В Ницце он написал для своих друзей два духовно-нравственных сочинения, которыми они должны были руководствоваться в повседневной жизни, — «Правило жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии». Эту попытку духовного наставления можно представить себе как подступы к «Выбранным местам из переписки с друзьями» — в этих «правилах» содержатся многие идеи будущей книги. Гоголь как бы нащупывал новый для себя жанр, приближаясь к традиции святоотеческой литературы.

В начале 1845 Гоголь в Париже работает над книгой «Размышления о Божественной Литургии», оставшейся незавершенной и увидевшей свет после его смерти.

Стремление к постижению сокровенного смысла Литургии возникло у Гоголя уже давно. Еще в 1842 он писал матери:

«...Есть много тайн во глубине души нашей, которых еще не открыл человек и которые могут подарить ему чудные блаженства. Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страждущего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию. Как прохладный лес среди палящих степей, тогда примет его молитва под сень свою».

Эта вера во всеразрешающую силу литургической молитвы вызревала у Гоголя постепенно и после нескольких лет заграничных странствий и душевных тревог вылилась в желание передать другим накопленный опыт.

«Размышления о Божественной Литургии», в которых органично сочетаются богословская и художественная (стилистическая) стороны, представляют собой оригинальное произведение и один из лучших образцов русской духовной прозы. В книге воплощен и личный опыт Гоголя.

«...Для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, — писал он, — необходимо частое, сколько можно, посещение Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату».

По свидетельству современников, Гоголь «хотел сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради научения и пользы всех сословий» и даже «придумал для него формат книги: маленький, в осьмушку, который очень любил».

Параллельно с новыми сочинениями Гоголь трудится над вторым томом «Мертвых душ». Писание, однако, подвигалось медленно. Продолжение поэмы он не мыслит теперь без предварительного воспитания своей души. «Сочиненья мои так связаны тесно с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до того времени внутреннее

сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений», – признавался он литератору Петру Плетневу в октябре 1843. А в июле 1844 отвечал Николаю Языкову: «Ты спрашиваешь, пишутся ли «Мертвые души»? И пишутся и не пишутся. <...> Я иду вперед — идет и сочинение, я остановился — не идет и сочинение».

Летом 1845 разразился кризис. Как бы предчувствуя смерть, Гоголь пишет духовное завещание, впоследствии включенное в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», и сжигает рукопись второго тома. О самом сожжении мы почти не имеем других сведений, кроме сообщенных Гоголем в последнем из «Четырех писем к разным лицам по поводу «Мертвых душ», напечатанных в той же книге.

«Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу».

В этом же письме Гоголь указал на причины сожжения:

«Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. <...> Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого».

В несомненной связи с сожжением второго тома и написанием «Завещания» находится и попытка Гоголя в конце июня — начале июля 1845 оставить литературное поприще и уйти в монастырь. Об этом, в частности, упоминает в своих записках Марфа Степановна Сабина, дочь веймарского православного священника Стефана Сабина. По ее словам, Гоголь приехал в Веймар, чтобы поговорить с ее отцом о своем желании поступить в монастырь, но тот, видя болезненное состояние Гоголя, отговаривал его и убедил не принимать окончательного решения.

Отзвук поездки в Веймар можно найти в письме Гоголя «Нужно проездиться по России», вошедшем в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» и адресованном графу Толстому, чьи душевные устремления также были направлены к монашеству:

«Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобрести право удалиться от мира, нужно уметь распротиться с миром <...> Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия!»

По словам В.А. Жуковского, настоящим призванием Гоголя было монашество.

«Я уверен, – писал Жуковский Плетневу в марте 1852 из Бадена, получив известие о смерти Гоголя, – что если бы он не начал свои “Мертвые Души”, которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно».

Последнее десятилетие жизни Гоголя проходит под знаком все усиливающейся тяги к иночеству. Не давая монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания, он воплощал их в своей жизни. Гоголь не имел своего дома и жил у друзей — сегодня у одного, завтра у другого. Свою долю имения он отказал в пользу матери и остался нищим, — помогая при этом бедным студентам из средств, полученных за издание своих сочинений. Оставшееся после смерти Гоголя личное его имущество состояло из нескольких десятков рублей серебром, книг и старых вещей, — а между тем созданный им фонд «на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством», составлял более двух с половиной тысяч рублей.

Современники не оставили никаких свидетельств о близких отношениях Гоголя с какой-либо женщиной. О его церковном отношении к послушанию говорит тот поразительный факт, что он по совету своего духовного отца сжег главы незаконченного труда и фактически отказался от художественного творчества. О том, насколько труден этот шаг

был для Гоголя, можно судить по его признанию в «Авторской исповеди»: «Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни, и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем, чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего».

Однако подлинный трагизм ситуации заключался в том, что монашеский склад был только одной и, вероятно, не главной стороной гоголевской натуры. Художническое начало преобладало в нем; кризис Гоголя — следствие глубочайшего разлада между духовными устремлениями и писательским даром.

Попытка Гоголя оставить мир летом 1845, по всей видимости, не предполагала окончательного отказа от творчества, но как бы подразумевала возвращение к нему в новом качестве. Путь к большому искусству, полагал Гоголь, лежит через личный подвиг художника. Нужно на время умереть для мира, чтобы пересоздаться внутренне, а затем вернуться в мир, то есть к творчеству.

Напряженная внутренняя жизнь этих лет отразилась и на внешнем облике Гоголя. Литератор П.В. Анненков, встретивший его в 1846 в Париже, вспоминает:

«Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа».

Здесь мы видим весьма выразительный портрет, который показывает нам духовно зрелого Гоголя, нашедшего свой путь.

Литературная проповедь

Итогом кризиса 1845 года стали «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшие из печати в самом начале 1847. Книга оказалась своеобразным лирико-философским эквивалентом второго тома «Мертвых душ»: отдельные письма-статьи (в первую очередь обращенные к графу Толстому) звучат как наброски глав поэмы.

«Видя, что еще не скоро я совладаю с моими “Мертвыми душами” <...> – признавался Гоголь в письме к С.Т. Аксакову, – я поспешил заговорить о тех вопросах, которые меня занимали и которые готовился развить или создать в живых образах и лицах».

В книге Гоголь во всеуслышание высказал свои воззрения на веру, Церковь, царскую власть, Россию, слово писателя, поэзию. Впрочем, для тех, кто знал Гоголя и кому адресованы письма, взгляды эти были не новы. Новыми они оказались для публики и критиков — Гоголь как бы обманул ожидания своих прежних читателей. Князь П. Вяземский, поэт и критик, не без остроумия писал в этой связи С. Шевыреву, профессору словесности, одному из друзей Гоголя, в марте 1847: «...наши критики смотрят на Гоголя, как смотрел бы барин на крепостного человека, который в доме его занимал место сказочника и потешника и вдруг сбежал из дома и постригся в монахи».

Новая книга Гоголя вызвала переполох в обществе. Ее решительно осудили Герцен, Белинский и другие люди западнического направления. Апофеозом неприятия книги стало известное письмо Белинского к Гоголю из Зальцбрунна от 15 июля (н. ст.) 1847. Он считал, что Гоголь изменил своему дарованию и убеждениям. Бросил ему обвинения в лицемерии и даже корысти, утверждая, что «гимны властям предержащим хорошо устраивают набожного автора» и что книга написана с целью попасть в наставники к сыну наследника престола; в языке книги он видел падение таланта и недвусмысленно намекал на умопомрачение Гоголя. Но главный пункт, на который напал Белинский и который является центральным в книге, был вопрос о религиозном будущем народа.

«По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! – писал критик. – <...> Приглядитесь пристальнее и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. <...> Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много

для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем».

Гоголь был потрясен несправедливостью упреков. Поначалу он написал большое письмо, в котором ответил Белинскому по всем пунктам.

«Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии, – писал, в частности, Гоголь, – и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуваженьем отзывается о Боге <...>. Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятиях легкими журнальными статейками...»

Этого письма Гоголь, однако, не отправил. Он написал другое, короткое и сдержанное, заключив его пожеланием критику душевного спокойствия, «без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще».

Среди немногих безоговорочно принявших книгу был Плетнев, который назвал ее в письме к Гоголю «началом собственно русской литературы», но оговорил, что она «совершит влияние свое только над избранными». Вряд ли это устраивало Гоголя, ведь он собирался наставить на путь истинный *всю Россию*.

Сдержанно отнеслось к книге и духовенство, традиционно не вмешивавшееся в дела светской литературы. С.Т. Аксаков в письме к сыну Ивану от января 1847 передал мнение святителя Филарета, митрополита Московского, который сказал, что «хотя Гоголь во многом заблуждается, но надобно радоваться его христианскому направлению».

Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий, которому Гоголь послал книгу, свое отношение к ней высказал в письме к М.П. Погодину:

«...Скажите, что я благодарен за дружескую память, помню и уважаю его, а люблю по-прежнему, радуюсь перемене с ним, только прошу его не парадировать набожностью: она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то чтоб он молчал. Голос его нужен, для молодежи особенно, но если он будет неумерен, то поднимут на смех, и пользы не будет».

Гоголь отвечал преосвященному Иннокентию (в июле 1847), что не хотел «парадировать набожностью», то есть выставлять ее напоказ:

«Я хотел чистосердечно показать некоторые опыты над собой, именно те, где помогла мне религия в исследовании души человека, но вышло все это так неловко, так странно, что я не удивляюсь этому вихрю недоразумения, какой подняла моя книга».

Очевидно, отрицательное мнение о «Выбранных местах...» имел ржевский протоиерей Матфей Константиновский, которому Гоголь послал книгу по рекомендации графа Толстого. Отзыв его не сохранился, но мы можем судить о нем по ответу Гоголя, который писал ему в мае 1847 из Неаполя: «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие и я дам за нее ответ Богу».

По-видимому, отец Матфей упрекал Гоголя в непрошеном учительстве, а также в увлечении светскими темами (в частности, он нападал на статью «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» как уводящую общество от Церкви).

Книгу свою Гоголь адресовал в первую очередь людям неверующим, тем, кто не ходит в церковь. «Мне кажется, – писал он отцу Матфею, – что если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие».

Можно сказать, что эта мысль Гоголя и есть тот итог, к которому он пришел в результате своих размышлений о писательстве. Но этот итог не запрещал ему художественного творчества, а лишь подвигал к решительному его обновлению в свете евангельского слова.

В своей книге Гоголь сказал, чем должно быть, по его мнению, искусство. Назначение его — служить «незримой ступенью к христианству», ибо современный человек «не в силах встретиться прямо со Христом». По Гоголю, литература должна выполнять ту же задачу, что и сочинения духовных писателей, — просвещать душу, вести ее к совершенству. В этом для него — единственное оправдание искусства. И чем выше становился его взгляд на искусство, тем требовательнее он относился к себе как к писателю.

Осознание ответственности художника за слово и за все им написанное пришло к Гоголю очень рано. Еще в «Портрете» редакции 1835 старый монах делится с сыном своим религиозным опытом: «Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника». В «Выбранных местах...» Гоголь со всей определенностью ставит вопрос о назначении художника-христианина и о той плате, которую он отдает за вверенный ему дар Божий — Слово.

Об ответственности человека за слово сказано в Святом Евангелии: «...за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ...» (Мф. 12, 36). Гоголь восстал против праздного литературного слова:

«Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. <...> Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово...» («О том, что такое слово»).

Один из упреков, который был предъявлен Гоголю после выхода книги, — это упрек в падении художественного дарования. Так, Белинский в «Письме к Гоголю» в запальчивости утверждал:

«Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и будь из нее выключены те места, где вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора “Ревизора” и “Мертвых душ”?»

Как ни удивительно, но это в высшей степени пристрастное суждение за полтора десятка лет никто не попытался опровергнуть, хотя среди читателей и ценителей книги были люди, одаренные тонким художественным вкусом. Вообще надо сказать, что изучение стиля и языка «Выбранных мест...» пока — дело будущего. Но и теперь достаточно непредубежденно вслушаться в музыку гоголевского текста, чтобы понять несправедливость многих упреков. Перечитайте последние три страницы «Светлого Воскресенья»: в этом шедевре прозы сначала звучат редкие, глухие удары великопостного колокола, которые в конце постепенно сменяются ликующим пасхальным благовестом.

«Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? <...> И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!»

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: “Христос Воскрес!” — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гуляют и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспродуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов!»

Талант Гоголя не померк в его публицистике, но проявился непредсказуемо для него самого и для читающей публики. Вокруг Гоголя сложилась атмосфера трагического

непонимания. Он сделал вывод из резких критик (может быть, и неверный): «Не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье». Он возвращается к «Мертвым душам» с убеждением: «Здесь мое поприще» — и работает над ними вплоть до самой смерти. Но поиски нового литературного пути и тяга к иноческой жизни остаются.

Иерусалим

После Веймара Гоголь еще по меньшей мере дважды пытался если не уйти в монахи, то хотя бы приблизиться к монастырю — в конце жизни он собирался на Святой Афон и несколько раз посетил Оптину Пустынь. Одним из наиболее содержательных моментов его духовной жизни стало паломничество в Иерусалим.

Истоки этой поездки уходят в детство Гоголя. В своем доме он слышал многочисленные рассказы странников о Святой Земле и читал книжки об Иерусалиме, выпускавшиеся для народа. Это отразилось потом в его ранних произведениях. «Читали ли вы, — спросил Иван Иванович после некоторого молчания, — <...> книгу «Путешествие Коробейникова ко Святым Местам»? Истинное услаждение души и сердца! Теперь таких книг не печатают. <...> Истинно удивительно, государь мой, как подумать, что простой мещанин прошел все места эти <...> Подлинно, его Сам Господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме» («Иван Федорович Шпонька и его тетушка», 1832).

Неизвестно в точности, когда у Гоголя возник замысел поездки в Святую Землю. Возможно, он зародился еще в Нежине под влиянием уроков протоиерея Павла Волинского. Как бы там ни было, Гоголь умалчивал о своем намерении и открыл его гораздо позднее. В начале 1842 он получил благословение на путешествие в Иерусалим от пресвященного Иннокентия, в ту пору епископа Харьковского. С.Т.Аксаков так рассказывает об этом:

«Вдруг входит Гоголь с образом Спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: “Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец, Иннокентий благословил меня. Теперь я могу объявить, куда я еду: ко Гробу Господню”».

В этом благословении Гоголь увидел повеление свыше.

Когда жена Аксакова, Ольга Семеновна, сказала, что ожидает теперь от него описания Палестины, Гоголь ответил: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно очиститься и быть достойну». Продолжение литературного труда он уже не мыслит без предварительного обновления души:

«Чище горного снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования».

Если поездка в Европу была самым обыкновенным делом в русском образованном обществе, то в Иерусалим светские люди, напротив, ездили крайне редко. Последнее было связано с большими трудностями из-за дальности расстояния и неудобств этого пути. Намерение такого вполне светского писателя, каким казался Гоголь, сочинения которого не давали основания предполагать в нем глубоко религиозного человека, ехать в Иерусалим на поклонение Гробу Господню, удивило многих. Даже такие близкие друзья Гоголя, как Аксаковы, знавшие об усилении в нем религиозного чувства, не давали себе труда объяснить, какие мотивы подвигают его предпринять столь трудное и отдаленное путешествие.

«Признаюсь, я не был доволен ни просветленным лицом Гоголя, ни намерением его ехать к Святым Местам, — замечал Сергей Тимофеевич. — Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием и особенно страшным в Гоголе как в художнике...»

На эти сомнения Аксакова Гоголь отвечал в письме к нему из Гастейна:

«Вас утрашает мое длинное и трудное путешествие. Вы говорите, что не можете понять ему причины <...> Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? <...> Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном

“Мертвым душам”, лирическую восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали значение? <...> Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погрешками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и между сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью, и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит? »

Однако паломничество в Иерусалим состоялось только в 1848. О своем намерении отправиться к Святым Местам Гоголь публично объявил в предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями», прося при этом прощения у своих соотечественников, испрашивая молитв у всех в России — «начиная от святителей» и кончая теми, «которые не веруют вовсе в молитву», и, в свою очередь, обещая молиться о всех у Гроба Господня.

В 1847 в Иерусалиме в связи с возрастающим потоком паломников из России была основана Русская духовная миссия. Начальником ее был назначен архимандрит Порфирий (Успенский), впоследствии епископ Чигиринский, крупнейший знаток культуры христианского Востока. В составе миссии находились также святитель Феофан, в то время иеромонах, будущий епископ Тамбовский, Владимирский и Суздальский, знаменитый затворник Вышинский и только что окончившие Петербургскую духовную Семинарию два студента. Один из них, священник Петр Соловьев, оставил воспоминания о встрече с Гоголем в январе 1848 на пароходе «Истамбул», следовавшем к берегам Сирии — в Бейрут, откуда миссия должна была отправиться в Иерусалим.

Из Бейрута Гоголь в сопровождении своего школьного приятеля Константина Базили отправился в Иерусалим. Впоследствии в письме к Жуковскому он живыми и поэтическими красками описал это путешествие:

«Видел я как во сне эту землю. Подымаясь с ночлега до восхождения солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровождении и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень колодец, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами¹. Здесь привал на полчаса и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже на синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима».

В середине февраля 1848 путешественники прибыли в Иерусалим. В записной книжке Гоголя появляется запись: «Николай Гоголь — в Св. Граде».

Пребывание Гоголя в Святой Земле — малоизученный эпизод его духовной биографии. По свидетельству современников, сам он не любил вспоминать о нем. Когда Михаил А. Максимович, ученый, друг Гоголя, говорил с ним о том, что было бы хорошо, если бы он описал свое путешествие в Палестину, тот отвечал: «Может быть, я описал бы все на четырех листках, но я желал бы написать это так, чтоб читающий *слышал*, что я был в Палестине».

И вот Гоголь проходит по местам земной жизни Спасителя, говееет и приобщается Святых Тайн у Гроба Господня, а также молится за всю Россию — подобно своему далекому предшественнику, игумену Даниилу, первому русскому паломнику, который в начале XII века принес к Святому Гробу лампаду «от всей земли Русской».

Гоголевское описание Литургии у Гроба Господня исполнено высокого воодушевления и теплого чувства:

«Я стоял в нем (алтаре) один; передо мною только священник, совершавший Литургию. Диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами Гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение

¹ *Сикомор* — южное дерево семейства тутовых с твердой древесиной и съедобными плодами; библейская смоковница.

русских поклонников, возглашавших “Господи, помилуй” и прочие гимны церковные, едва доходило до ушей, как бы исходившее из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед Чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщенья меня, недостойного...»

Эта ночь, проведенная у Гроба Господня, навсегда осталась в памяти Гоголя. Между тем из его писем можно вывести заключение, что паломничество не дало тех плодов, на которые он рассчитывал.

«Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состояньем сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима, – писал Гоголь 21 апреля 1848 отцу Матфею Константиновскому из Одессы. – Только разве что больше увидел черствость свою и свое себялюбье — вот весь результат».

Однако эти смиренные слова приобретают несколько иной смысл, если мы вдумаемся в то, что предшествует им и что следует после них.

«Часто я думаю: за что Бог так милует меня и так много дает мне вдруг, – говорит Гоголь в начале письма, – и могу только объяснить себе это тем, что мое положение действительно всех опаснее, и мне трудней спастись, чем кому другому. <...> Дух-обольститель так близок от меня и так часто меня обманывал, заставляя меня думать, что я уже владею тем, к чему только еще стремлюсь и что покуда пребывает только в голове, а не в сердце».

И далее, сказав, что никогда еще он не был так мало доволен состояньем сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима, Гоголь прибавляет:

«Была одна минута... но как сметь предаваться какой бы то ни было минуте, испытавши уже на деле, как близко от нас искуситель! Страшусь всего, видя ежеминутно, как хожу опасно. Блестит вдали какой-то луч спасенья: святое слово *любовь*. Мне кажется, как будто теперь становятся мне милее образы людей, чем когда-либо прежде, как будто я гораздо больше способен теперь любить, чем когда-либо прежде. Но Бог знает, может быть, и это так только кажется; может быть, и здесь играет роль искуситель...»

«Одна минута», о которой Гоголь писал отцу Матфею, это, по всей видимости, — ночь, проведенная у алтаря Гроба Господня, когда он приобщался Святых Тайн. О той же «минуте» Гоголь говорил Александре Осиповне Смирновой. По ее словам, он не отвечал, когда его спрашивали о Святых Местах, а ей рассказал только «одну ночь, проведенную им в церкви».

Подлинный результат поездки Гоголя в Святую Землю — приобретение настоящего духовного смирения и братской любви к людям. В этом смысле следует понимать и слова Гоголя из письма к Жуковскому:

«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика *черствость* моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе вместо алтаря, и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно было бы во мне сгореть и остаться одно небесное».

Многие заметили перемену в Гоголе после его возвращения. Так, княжна В.Н. Репнина-Волконская вспоминала о приезде Гоголя в их имение Яготино в 1848:

«Лицо его носило отпечаток перемены, которая воспоследовала в душе его. Прежде ему были ясны люди; но *он* был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу. Она колола их острым его носом, жгла его выразительными глазами; его боялись. Теперь он сделался ясным для других; он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит христианством. Потом в Одессе я дала ему прочесть эти строки; он сказал мне: “Вы меня поняли, но слишком высоко поставили в своем мнении”».

А крупный предприниматель-патриот, славянофил Ф.В. Чижов писал живописцу А. Иванову из Киева:

«Четвертого дня приехал сюда Гоголь, возвращаясь из Иерусалима, он, кажется, очень и очень успел над собою, и внутренние успехи выражаются в его внешнем спокойствии».

Как память о путешествии к Святым Местам в Васильевке хранились кипарисовый посох, подаренный Гоголем сестре Ольге Васильевне, с которым она не расставалась всю жизнь; сердоликовые крестики, перламутровые иконки-ящички с изображением Благовещения, цветы из Палестины, освященное иерусалимское мыло, которым омывают Гроб Спасителя в ночь перед Пасхой, и другие реликвии.

Г.П. Данилевский, автор популярных исторических романов, лично знавший Гоголя и совершивший в мае 1852 поездку на родину писателя, рассказывает в своих воспоминаниях, что местные крестьяне не хотели верить, что Гоголь умер, и среди них родилось сказание о том, что похоронен в гробе кто-то другой, а барин их будто бы уехал в Иерусалим и там молится за них. В этом сказании есть глубокая духовная правда: Гоголь действительно переселился в Горний Иерусалим и там из своего чудного, но таинственного и неведомого нам далека, у Престола Господня, молится за всю Русскую землю, чтобы непоколебимо стояла она в Православной вере и чтобы больше было в ней правды и любви, — ведь это и являлось главной заботой великой души великого русского писателя.

В Иерусалиме Гоголю побывать больше не удалось, как не пришлось ему съездить и на Святой Афон, куда он также стремился.

Думы об Афоне

Святая гора Афон в судьбе Гоголя была связана, в частности, с именем тамошнего инока и духовного писателя иеросхимонаха Сергия (Веснина), известного в литературе под псевдонимом Святогорец. Это был человек высокой и трагической судьбы. Оставшись круглым сиротой в тринадцать лет, он с детства мечтал странствовать по святым местам. Уже вдовым священником он побывал в Соловецком Преображенском монастыре и у святынь Москвы и Киева. В 1839 в Вятке Святогорец принял постриг с именем Серафим, а через четыре года вступил в число братии Афонского Пантелеимоновского монастыря, где спустя год удостоился схимы, великого ангельского образа, и был наречен Сергием (ему не было тогда еще тридцати лет).

Во время пребывания на святой горе отец Сергий написал несколько трудов по истории Церкви, ряд житий святых, а также вел обширную переписку братии. В 1847 он приехал в Россию, чтобы наблюдать за печатанием своей книги «Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской», которая вышла в 1850 двумя изданиями. После возвращения на Афон в 1851 иеросхимонах Сергий поселился в построенной для него Космо-Дамиановской келлии¹. Скончался он в 1853 тридцати девяти лет от роду.

Гоголь познакомился со Святогорцем, вероятно, в конце 1849 или в начале 1850 в Москве. Весной 1850 иеросхимонах Сергий вспоминал об одном литературном вечере:

«...Тут же мой лучший друг, прекрасный по сердцу и чувствам Николай Васильевич Гоголь, один из лучших литераторов. <...> Я в особенно близких отношениях здесь с графом Толстым, у которого принят как домашний <...> Граф Толстой прекрасного сердца и очень прост. По знакомству он выслал экземпляр моих писем одному из городских священников Тверской губернии, и тот читал мои сочинения в церкви вместо поучений на первой неделе Великого поста, о чем извещал графа».

Священник этот, без сомнения, ржевский протоиерей Матфей Константиновский, духовный отец Гоголя и графа А.П. Толстого.

Зиму 1850–1851 Гоголь провел в Одессе и снова встречался там со Святогорцем. В марте 1851, по пути на Афон, тот сообщил Гоголю:

«Возлюбленный Николай Васильевич! Наскоро пишу вам, торопясь на почту и к отъезду сегодня из Константинополя в Солун на австрийском пароходе. Церквей православных в Константинополе сорок

¹ Здесь *келлия* означает не помещение (комната или дом) для проживания монаха, а тип *скита*, небольшого монастыря.

шесть. Это передал мне о. Софония (архимандрит, настоятель церкви при Русской миссии в Константинополе), и, верно, потому, что он и сам собирал сведения подобного рода».

Сведения о православных церквях были нужны Гоголю в связи с задуманной им поездкой в Константинополь и Грецию.

В последние годы жизни Гоголя среди его знакомых распространился слух, что он собирается ехать на Афон. Летом 1850 И.С. Аксаков извещал родных о письме Смирновой, которая сообщила, что «Гоголь, вероятно, поселится на Афонской горе и там будет кончать “Мертвые души”». Этот слух подтверждается свидетельством самого Святогорца, который, узнав о кончине Гоголя, писал из Космо-Дамиановской келлии в апреле 1852:

«Смерть Гоголя — торжество моего духа. Покойный много потерпел и похворал, надобно и пора ему на отдых в райских обителях. Жаль только, что он не побывал у нас. Я очень любил его; в Одессе мы с ним видались несколько раз, и наше расставание было условное — видеться здесь. Судьбы Божии непостижимы! В последнее время его считали помешанным — за то, что он остепенился и сделался христианином. Вот ведь мирская-то мудрость! Толкуйте с миром!»

В другом письме к тому же адресату от середины августа 1852, поблагодарив за присылку портрета Гоголя, Святогорец снова вспоминает о некогда данном Гоголем обещании приехать на Афон:

«Покойный, расставаясь со мною в Одессе, дал слово — только съездить в Москву на лето, с целью издания своих творений, а потом к осени 1851 прибыть на Афон. Таковы-то наши предположения! Думы за горами, а смерть за плечами! Жизнь Гоголя поучительна: в последнее время он был строгим христианином, — и это радует меня».

Вместо Святого Афона Гоголь оказался в Оптиной Пустыни.

Оптина Пустынь

Козельская Введенская Оптина Пустынь стала к середине XIX века одним из центров духовной жизни России — благодаря старчеству, процветавшему в ее Иоанно-Предтеченском скиту. Слух о благодатных Оптинских старцах начал привлекать в монастырь всю верующую Россию — от простого крестьянина до государственного деятеля, искавших духовного утешения и наставления, а также ответа на жизненно важные вопросы. Приезжали туда и русские писатели-мыслители — Федор Достоевский, Лев Толстой, Константин Леонтьев. Первым в этом ряду был Гоголь, который трижды посетил обитель: в июне 1850 и в июне и сентябре 1851.

По всей вероятности, в Оптину Гоголя направил Иван Киреевский. Духовный сын преподобного Макария, он как никто другой понимал значение старчества.

«Существеннее всяких книг и всякого мышления, — писал он своему другу А. Кошелеву, — найти святого православного старца, который бы мог быть твоим руководителем, которому ты мог бы сообщать каждую мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждение святых отцов. Такие старцы, благодаря Бога, еще есть в России...»

Возможно, нечто подобное Киреевский высказывал и Гоголю. Во всяком случае, в июне 1850 Гоголь вместе с М. Максимовичем, проездом на юг, в Малороссию, заезжает в Оптину.

13 июня друзья выехали из Москвы на долгих. Первую ночь они провели в Подольске, где встретили поэта-славянофила А. Хомякова с супругой и провели вечер в дружеской беседе с ними. 15 июня Гоголь и его спутник ночевали в Малом Ярославце, утром отстояли молебен в тамошнем Николаевском монастыре, настоятель которого отец Антоний напоил их чаем и благословил каждого финифтяным образком Николая Чудотворца.

Игумен Антоний был одним из трех братьев Путиловых, известных подвижников христианского благочестия. В течение четырнадцати лет он был начальником Иоанно-Предтеческого скита, последующие четырнадцать лет управлял Малоярославецким

Николаевским монастырем и потом двенадцать лет прожил на покое в Оптиной Пустыни. Его брат, архимандрит Моисей, был настоятелем Оптиной почти сорок лет; за эти годы монастырь совершенно преобразился и обустроился, развернулась его издательская деятельность, расцвело старчество. Третий брат Путилов, отец Исайя, был игуменом Саровской обители. Со всеми тремя братьями-подвижниками Гоголь был знаком.

16 июня Гоголь и Максимович провели в Калуге, а днем обедали у Александры Осиповны Смирновой, супруги калужского губернатора, давней приятельницы Гоголя. Здесь в присутствии известного поэта графа А. К. Толстого Николай Васильевич говорил о своем намерении «проездиться по России». Первый биограф Гоголя П. Кулиш рассказывает со слов Максимовича:

«Между прочим, путешествие на долгих было для него (Гоголя) уже как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки Русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, “чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился”».

Из Калуги Гоголь и его спутник отправились в Оптину Пустынь. Последние две версты до монастыря они прошли пешком, как и полагается паломникам. По дороге встретили девочку с мисочкой земляники и хотели купить у нее ягоды. Но та, видя, что они люди дорожные, не захотела взять с них денег и отдала землянику даром со словами: «Как можно брать со странных людей». «Пустынь эта распространяет благочестие в народе, – сказал Гоголь, умиленный этим явлением. – И я не раз замечал подобное влияние таких обителей».

В Оптиной Гоголь, по воспоминаниям иноков, присутствовал на всенощном бдении, во время которого «молился весьма усердно и с сердечным умилением», затем посетил старцев. Было это, по всей видимости, 17 июня (этот день в 1850 приходился на субботу, когда совершается под воскресенье всенощное бдение). 19 июня путешественники уехали в имение Киреевского Долбино, находившееся в сорока верстах от монастыря возле города Белева.

Здесь Гоголь на следующий день написал письмо оптинскому иеромонаху Филарету:

«Ради Самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден, дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо...»

Гоголь понял, что оптинский дух стал для него жизненно необходимым:

«Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптиной Пустыни».

Именно в первый свой приезд Гоголь познакомился со столпами оптинского монашества — преподобными игуменом Моисеем и старцем Макарием. Есть предание, что отец Макарий, обладавший даром прозорливости¹, предчувствовал приход Гоголя. Старец Варсонофий рассказывал своим духовным детям:

¹ Это благодатное свойство преподобного Макария отразилось, в частности, в повести И. С. Тургенева «Степной король Лир». Матушка рассказчика советует герою повести Мартыну Петровичу Харлову отправиться в Оптину Пустынь: «Там, говорят, такой святой проявился иннок... отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит! Все грехи насквозь видит». Кстати сказать, по словам старца Варсонофия, Тургенев был в Оптиной и восхищался красотой обители.

«Говорят, он был в то время в своей келлии (кто знает, не в этой ли самой, так как пришел Гоголь прямо сюда) и, быстро ходя взад и вперед, говорил бывшему с ним иноку: “Волнуется у меня что-то сердце. Точно что необыкновенное должно совершиться, точно ждет оно кого-то”. В это время докладывают, что пришел Николай Васильевич Гоголь».

Почти несомненно, что в беседе со старцем речь зашла и о «Выбранных местах из переписки с друзьями». В библиотеке Оптиной Пустыни хранился экземпляр книги с вложенным в нее отзывом святителя Игнатия (Брянчанинова), переписанным рукой преподобного Макария. Неизвестно, каким путем этот отзыв попал в Оптину; возможно, его привез сам Гоголь, узнавший мнение святителя (в ту пору архимандрита), еще в 1847.

Гоголь был едва ли не единственным русским светским писателем, творческую мысль которого могли питать святоотеческие творения. В один из приездов в Оптину (возможно, и в первый) он прочитал рукописную книгу — на церковнославянском языке — преподобного Исаака Сирина (с которой в 1854 старцем Макарием было подготовлено печатное издание), ставшую для него откровением. В монастырской библиотеке хранился экземпляр первого издания «Мертвых душ» с пометами Гоголя. На полях одиннадцатой главы, против того места, где речь идет о «прирожденных страстях», он набросал карандашом:

«Это я писал в «прелести» (излишней самоуверенности), это вздор — природженные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении природженных страстей — теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о “гнилых словах”, здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении природженных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение “Мертвых душ”. Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души, встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, — не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души».

Посещение Оптиной произвело на Гоголя глубокое впечатление. Спустя три недели он писал графу Толстому из Васильевки: «Я заезжал на дороге в Оптинскую Пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодарить видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. <...> За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше. Вы постарайтесь побывать в этой обители...»

В первый свой приезд в Оптину Гоголь познакомился с человеком удивительной судьбы, П.А. Григоровым, в то время рясофорным послушником. В миру он был гвардейским офицером и служил в конной артиллерии; из прошлой его жизни широко известен забавный эпизод. Однажды на батарею к Григорову приехал неизвестный молодой человек; когда в нем был узнан Пушкин, пылкий артиллерист, поклонник великого поэта, немедленно произвел пушечный салют в его честь, за что и был посажен на гауптвахту.

Иноческую жизнь Петр Григоров начал келейником у знаменитого Задонского затворника Георгия, духовную близость к которому он сохранил и перейдя в Оптину Пустынь. Им были изданы «Письма в Бозе почивающего затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия» с кратким жизнеописанием его, составленным по запискам живших при нем келейных.

По приезде Гоголя игумен Моисей поручил послушнику Петру показать гостю все примечательные места в обители. Несмотря на краткость знакомства и беседы, Гоголь очень полюбил Григорова и впоследствии говорил о нем Л.И. Арнольди, сводному брату А.О. Смирновой:

«Он славный человек и настоящий христианин; душа его такая детская, светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей, не любящий беседы. Нет, он, напротив того, любит всех людей как братьев; он всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая степень совершенства, до которой только может дойти истинный христианин».

По отъезде из Оптиной, уже из Васильевки, Гоголь написал Григорову письмо, в котором с сердечной теплотой вспоминал о посещении монастыря: «Ваша близкая к небесам пустыня и радушный прием ваш оставили в душе моей самое благодатное воспоминанье». Гоголь просит молитв, «в особенности отца игумена», и передает деньги на молебен (десять рублей серебром) о благополучном путешествии к святым местам и о благополучном окончании сочинения своего — «Мертвых душ» — «на истинную пользу другим и на спасенье собственной души».

Вскоре Петр Григоров был пострижен в мантию с именем Порфирий. Зимой 1850–1851 продолжалась оживленная переписка Гоголя с его оптинским другом Порфирием. Последнее письмо Гоголь отправил из Одессы 6 марта 1851, но его отец Порфирий, по всей видимости, получить не успел: он скончался 15 марта 1851 сорока семи лет от роду.

Во второй раз Гоголь был в Оптиной Пустыни проездом с юга в Москву в июне 1851. Об этом посещении известно из записи в дневнике оптинского иеромонаха Евфимия (Трунова):

«Пополудни прибыл проездом из Одессы в Петербург (на самом деле в Москву) известный писатель Николай Васильевич Гоголь. С особенным чувством благоговения отслушал вечерню, панихиду на могиле своего духовного друга, монаха Порфирия Григорова, потом всенощное бдение в соборе. Утром в воскресенье 3-го числа он отстоял в скиту Литургию и во время поздней обедни отправился в Калугу, поспешая по какому-то делу. Гоголь оставил в памяти нашей обители примерный образец благочестия».

В этот приезд Гоголь узнал об обстоятельствах смерти отца Порфирия и беседовал со старцами. По возвращении в Москву он пишет письма игумену Моисею и старцу Макарию (последнее не сохранилось), в которых благодарит за гостеприимство, просит молитв и посылает деньги на обитель (двадцать пять рублей серебром). Старцы, в свою очередь, благодарят Гоголя, а преподобный Макарий, кроме того, благословляет его на написание книги по географии России для юношества.

Замысел этого труда возник у Гоголя давно и именно с ним связаны предполагаемые поездки по монастырям. В набросках официального письма (июль 1850) высокому лицу, испрашивая материальной помощи на три года, он излагает свои соображения по этому поводу:

«Нам нужно живое, а не мертвое изображение России, та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая поставила бы русского лицом к России еще в то первоначальное время его жизни, когда он отдается во власть гувернеров-иностранцев <...> Книга эта составляла давно предмет моих размышлений. Она зреет вместе с нынешним моим трудом и, может быть, в одно время с ним будет готова. В успехе ее я надеюсь не столько на свои силы, сколько на любовь к России, слава Богу, беспрестанно во мне увеличивающуюся, на споспешество всех истинно знающих ее людей, которым дорога ее будущая участь и воспитанье собственных детей, а пуще всего на милость и помощь Божью, без которой ничто не совершится...»

Старец Макарий преподал искомое благословение, но предупредил сочинителя, чтобы тот ждал препятствий в благом деле:

«...Пожеланию вашему не смею отказать и только тем могу служить, что, взяв перо, простираю мою грешную руку на сию хартию, а вера ваша да будет ходатайством у Господа внушить мне слово к вашему утешению <...> В благом вашем намерении об издании полезной книги Бог силен даровать вам свою помощь, когда будет на сие Его святая воля. Но, как пишут святые отцы, что всякому святому делу или предыдет, или последует искушение, то и вам предложится в сем деле искус, требующий понуждения».

Гоголь не успел осуществить этого замысла.

Третий и последний раз Гоголь посетил святую обитель в сентябре 1851. 22 сентября он выехал из Москвы в Васильевку на свадьбу сестры Елизаветы Васильевны, намереваясь оттуда проехать в Крым и остаться там на зиму. Однако, доехав до Калуги,

он отправился в Оптину, а потом неожиданно для всех вернулся в Москву. Поездка породила разнообразные толки среди знакомых Гоголя. Достоверно известно следующее.

24 сентября Гоголь был у старца Макария в скиту и на другой день обменялся с ним записками, из которых видно, что Гоголь пребывал в нерешительности — ехать или не ехать ему на родину. Он обратился к старцу за советом. Тот, видя подспудное желание Гоголя возвратиться в Москву, и посоветовал ему это. Но Гоголь продолжал сомневаться. Тогда отец Макарий предложил все-таки поехать в Васильевку. Очевидно, мысль о дальнем путешествии испугала Гоголя, и старец, в полном недоумении, оставил решение за ним самим, благословив его образком преподобного Сергия Радонежского, память которого совершалась в тот день.

Вероятно, во время последней встречи Гоголя со старцем Макарием между ними состоялся какой-то разговор, содержание которого нам неизвестно. Возможно, Гоголь имел намерение остаться в монастыре. Преподобный Варсонофий рассказывал в беседе со своими духовными чадами: «Есть предание, что незадолго до смерти он (Гоголь)) говорил своему близкому другу: «Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял...» — «Чего? Отчего потеряли вы?» — «Оттого, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?». Это предание отчасти подтверждается свидетельством сестры Гоголя Анны Васильевны, которая в 1888 писала В. Шенроку, биографу писателя, что брат ее «мечтал поселиться в Оптиной Пустыни».

По словам преподобного Варсонофия, старец Макарий отнесся к желанию Гоголя с определенной осторожностью:

«Неизвестно, заходил ли раньше у Гоголя с батюшкой Макарием разговор о монашестве, неизвестно, предлагал ли ему старец поступить в монастырь. Очень возможно, что батюшка Макарий и не звал его, видя, что он не понесет трудностей нашей жизни».

Троице-Сергиева лавра

По возвращении в Москву из Оптиной Гоголь нанес визит старому приятелю, известному слависту-археографу О. Бодянскому. «На вопрос его: «зачем он воротился?» отвечал: «Так: мне сделалось как-то грустно», и больше ни слова». На Покров (1 октября) Гоголь решает ехать в Троице-Сергиеву лавру, чтобы помолиться в день именин своей матери. 30 сентября он заходил к С.П. Шевыреву, но, не застав его дома, оставил ему записку: «Я еду к Троице с тем, чтобы там помолиться о здоровье моей матушки, которая завтра именинница. Дух мой крайне изнемог; нервы расколеблены сильно».

В тот же день вечером Гоголь приезжает в подмосковное Абрамцево. С.Т. Аксаков вспоминает:

«По неожиданной надобности я приехал в Москву 24 сентября и на другой день, к удивлению моему, узнал, что Гоголь воротился. 30-го я увез его с собой в деревню, где его появление, никем не ожидаемое, всех изумило и обрадовало. По каким причинам воротился Гоголь — положительно сказать не могу: он говорил, что в Оптиной Пустыни почувствовал нервное расстройство, прибавил, смеясь, что «к тому же нехорошо со мной простился». Он улыбался, но глаза его были влажные и в смехе слышалось что-то особенное. <...> Заметно было, что Гоголь смущался своим возвращением без достаточной причины по-видимому и еще больше тем, что мать и сестры будут огорчены, обманувшись его увидеть».

На следующий день Гоголь едет к обедне в Троице-Сергиеву лавру, находящуюся в тринадцати верстах от Абрамцева. Там он вместе с отцом Феодором (Бухаревым), с которым познакомился еще в 1848, посетил студентов Московской духовной академии. В предисловии к своей книге «Три письма к Н.В. Гоголю, писанные в 1848 году», увидевшей свет через двенадцать лет после своего создания, архимандрит Феодор так рассказывает об этом:

«Студенты приняли его с восторгом. И когда при этом высказано было Гоголю, что особенно живое чувство возбуждает он к себе тою благородною открытостью, с которой он держится в своем деле Христа и Его истины, то покойный заметил на это просто: “Что ж? Мы все работаем у одного Хозяина”».

Несмотря на краткость сказанных Гоголем слов, он все же выразил перед будущими пастырями очень важную мысль о том, что чувствует свою общность с ними в служении Христу.

О популярности Гоголя в стенах Московской духовной академии сохранилось еще одно свидетельство ее бывшего студента — митрофорного протоиерея церкви Священномученика Ермолая на Козьем болоте в Москве отца Сергия Модестова. По его словам, многие выдержки и типичные выражения из «Мертвых душ» некоторые из студентов знали наизусть.

«Помню, — рассказывает он, — наш товарищ из Тверской семинарии Владимир Николаевич Ретивцев, впоследствии монах и епископ Хрисанф, один из даровитейших, особенно любил декламировать эти выдержки. О Гоголе даже на классе Священного Писания читал лекции известный о. архимандрит Феодор Бухарев, причислявший Гоголя чуть ли не к пророкам-обличителям вроде Иеремии, плакавшем о пороках людских».

Близость взглядов своего профессора и Гоголя отмечали и казанские ученики архимандрита Феодора. Так, Валериан Лаврский, впоследствии протоиерей, записал в своем студенческом дневнике за 1856:

«А замечательное сходство между идеями о. Феодора и идеями Гоголя; ныне мы читали его переписку с друзьями: при этом старшие студенты беспрестанно поражались удивительным сходством между идеями и даже выражением того и другого. Известно, что они были коротко знакомы; но кто из них у кого заимствовал этот дух и взгляд? — Невероятно было бы думать, что духовный от светского».

И тем не менее совершенно очевидно, что в данном случае Гоголь повлиял на отца Феодора.

Судьба А.М. Бухарева (в монашестве архимандрита Феодора) в некотором смысле представляет как бы перевернутый вариант судьбы Гоголя. Оба стремились внести христианские начала во все сферы человеческой жизни — личную, семейную, общественную. Но направление их в следовании по этому пути было противоположным. Отец Феодор впоследствии подал прошение о снятии с себя сана и выходе из монастыря (хотя был, по его словам, «монахом не фальшивым, а по совести»), оправдывая свой поступок тем, что собирался проповедовать христианство в миру, — он стал литературным критиком и церковным публицистом. Гоголь, напротив, тянулся к монашеству из мира, который не мог вполне его удовлетворить.

На обратном пути из Троице-Сергиевой лавры Гоголь в коляске, присланной из Абрамцева, заехал в Хотьков Покровский монастырь за О.С. Аксаковой и сам заходил за ней к игуменье Магдалине. Отсюда Гоголь приехал в Абрамцево, отстоящее в трех верстах от монастыря.

«За обедом Гоголь поразвеселился, — вспоминал С.Т. Аксаков, — а вечером был очень весел. Пелись малороссийские песни, и Гоголь сам пел очень забавно. Это было его последнее посещение Абрамцева и последнее свидание со мною».

3 октября Гоголь возвратился в Москву. На этот день была назначена свадьба его сестры Елизаветы Васильевны с саперным офицером В.И. Быковым.

Вечером того же дня Гоголь пишет письмо матери и сестрам Анне и Елизавете:

«Не удалось мне с вами повидаться, добрейшая моя матушка и мои милые сестры, нынешней осенью. Видно, уж так следует и угодно Богу, чтобы эту зиму я остался в Москве. <...> Бог, иде же хочет, побеждает естества чин. А потому верю, что если вы будете обо мне усердно молиться, то и здесь соберутся во мне силы и я буду здоров и годен для труда и работы».

В приписке Гоголь сообщает:

«В день ваших именин, матушка, молился я у мощей св. Сергия о вас и о всех нас. Здоровье ваше с новобрачными было пито мной за обед Аксаковых, которые все вас поздравляя А сестру Ольгу, которая лечила крестьян в Васильевке, извещал в записке, что посылает ей десять рублей серебром на бедных и лекарства».

Больше Гоголь Москвы не покидал.

Последние дни

Предсмертная болезнь, сожжение рукописей и кончина Гоголя произошли быстро и содержали в себе много таинственного. События эти для многих современников явились полной неожиданностью. Гоголь жил в Москве в доме графа А.П. Толстого на Никитском бульваре. Он занимал переднюю часть нижнего этажа: две комнаты окнами на улицу (покои графа располагались наверху).

В начале 1852 Гоголь еще готовит к печати собрание своих сочинений, Намека на болезнь в это время не было. За девять дней до масленицы, то есть 25 января, Гоголя посетил О.М. Бодянский. Он застал его за столом, на котором были разложены бумаги и корректурные листы. Гоголь пригласил Бодянского на воскресенье (27 января) к Ольге Федоровне Кошелевой (жившей неподалеку, на Поварской) слушать малороссийские песни. Однако встреча не состоялась.

26 января умерла после непродолжительной болезни Екатерина Михайловна Хомякова, тридцати пяти лет от роду, человек Гоголю близкий и дорогой. Она была женой А.С. Хомякова и сестрой одного из ближайших друзей Гоголя, Николая Языкова. Смерть эта так тяжело отозвалась в душе Гоголя, что он не нашел в себе сил пойти на похороны. После первой панихиды он сказал Хомякову: «Все для меня кончено». С этих пор мысль о смерти овладевает Гоголем. Он почти ежедневно бывает в церкви.

30 января Гоголь в своем приходе заказывает панихиду по Екатерине Михайловне. После этого заходит к Аксаковым, говорит, что ему стало легче. «Но страшна минута смерти», – добавляет он. «Почему же страшна? – возразил кто-то из Аксаковых. – Только бы быть уверено в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти». — «Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту», – ответил он.

1 февраля, в пятницу, Гоголь — на обедне в своей приходской церкви. Потом он снова заходит к Аксаковым, хвалит свой приход и священника (отца Алексея Соколова, впоследствии настоятеля храма Христа Спасителя). «Видно было, что он находился под впечатлением этой службы, — вспоминала Вера Сергеевна Аксакова, — мысли его были все обращены к тому миру».

На следующий день, 2 февраля, был праздник Сретения. Можно предположить, что накануне вечером и в самый день утром Гоголь был в храме. Днем он пишет письма разным лицам (в том числе матери и Жуковскому), в которых просит молитв.

«Мне все кажется, что здоровье мое только тогда может совершенно как следует во мне восстановиться с надлежащей свежестью, — обращается он к матери и сестрам, — когда вы все помолитесь обо мне как следует, то есть соединенно, во взаимной между собой любви, крепкой, крепкой, без которой не приемлется от нас молитва».

В письме к Жуковскому Гоголь в последний раз говорит о своем главном труде — «Мертвых душах»:

«О себе что сказать? Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же. Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоин пропеть гимн красоте небесной».

3 февраля Гоголь опять на обедне в своем приходе, оттуда пешком идет к Аксаковым, жалуется на усталость.

«В его лице, — вспоминает В.С. Аксакова, — точно было видно утомление, хотя и светлое, почти веселое выражение».

Он еще занимается чтением корректур, но в начале масленицы в нем замечают нечто тревожное.

В понедельник, 4 февраля Гоголь посетил Шевырева, чтобы сообщить, что «некогда ему теперь заниматься корректурами». Степан Петрович и его жена заметили перемену в его лице и спросили, что с ним. Он отвечал, что «дурно себя чувствовал и кстати решил попоститься и поговорить» (11 февраля начинался Великий пост).

На следующий день Гоголь пожаловался захватившему к нему Шевыреву на «расстройство желудка и на слишком сильное действие лекарства, которое ему дали». Затем он едет к своему духовнику, с которым был знаком с 1842, когда по приезде из-за границы жил у историка М.П. Погодина. Вечером того же дня Гоголь провожал на станцию железной дороги гостившего у графа Толстого ржевского священника Матфея Константиновского. С этих пор он прекратил всякие литературные занятия.

К концу пребывания отца Матфея в Москве Гоголь решает говеть, то есть готовиться к принятию Святых Христовых Тайн. Начиная с 5 февраля он почти ничего не ест, большую часть ночей проводит в молитве. Тем не менее продолжает выезжать.

Княжна Варвара Николаевна Репнина-Волконская вспоминает, что последний раз видела Гоголя в четверг на масленой, то есть 7 февраля.

«Он был ясен, но сдержан, — рассказывает она, — и всеми своими мыслями обращен к смерти; глаза его блистали ярче, чем когда-либо, лицо было очень бледно. За эту зиму он очень похудел, но настроение духа его не заключало в себе ничего болезненного; напротив, оно было ясным, более постоянно, чем прежде. Мысль, что мы его скоро потеряем, была так далеко от нас; а между тем тон, с каким он прощался, на этот раз показался нам необычайным, и мы между собою заметили это, не догадываясь о причине. Ее разъяснила нам его смерть».

В ночь на 9 февраля после продолжительной молитвы на коленях перед образом Гоголь уснул на диване без постели и во сне слышал некие голоса, говорившие ему, что он умрет. В тревоге он призвал приходского священника и хотел собороваться маслом, но когда тот пришел, Гоголь уже успокоился и решил отложить совершение таинства. На следующий день, в субботу он поехал к Хомякову, у которого не был с 27 января.

В Прощеное воскресенье, 10 февраля, Гоголь просит графа Толстого передать свои рукописи святителю Филарету, митрополиту Московскому, чтобы тот определил, что нужно печатать, а чего не следует. Граф не принял бумаг, опасаясь утвердить в нем мысль о смерти. С этого дня Гоголь перестал выезжать из дому.

В понедельник первой недели поста в доме графа (на верхней половине) служили Великое повечерие. Гоголь едва смог подняться наверх по ступеням, однако отстоял всю службу. День он провел почти без пищи, ночь — в молитве со слезами. Граф Толстой, видя, как все это изнуряет Гоголя, прекратил у себя богослужения.

В ночь на 12 февраля, в третьем часу, Гоголь разбудил своего слугу Семена, велел ему тихонько подняться на второй этаж, где располагались печные задвижки, растопить печь в кабинете и затем начал сжигать свои бумаги. Наутро он (по запискам доктора Тарасенкова) сказал графу Толстому:

«Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как лукавый силен, вот он до чего меня довел. А я было думал разослать на память друзьям по тетрадке: пусть бы делали, что хотели».

Физическое состояние Гоголя в эти дни резко ухудшилось: очевидцы заметили в нем усталость, вялость и даже изнеможение — отчасти следствие обострения болезни, отчасти действие поста. Со слов графа Толстого известно, что Гоголь принимал пищу два раза в день: утром хлеб или просфору, которую запивал липовым чаем, вечером — кашу, саго или чернослив. Но всего очень понемногу. К нему приглашали знаменитейших московских докторов, однако он наотрез отказывался от лечения.

14 февраля, в четверг, Гоголь, по свидетельству Хомякова, сказал: «Надобно меня оставить, я знаю, что должен умереть».

В эти же дни Гоголь делает распоряжения графу Толстому насчет своего крепостного слуги Семена и рассылает деньги «бедным и на свечи». Средства, которые буду выручены от последнего издания его сочинений, он незадолго до этого просил раздать неимущим.

В субботу 16 февраля Гоголя посетил доктор Тарасенков (впервые за время болезни) и убеждал его подчиниться указаниям врачей. Гоголь отвечал вяло, но внятно и с полной уверенностью: «Я знаю, врачи добры: они всегда *желают* добра». При этом ниче не

выразил готовности следовать совету Тарасенкова. «Он смотрел как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны...»

Граф Толстой стремился употребить все возможное для исцеления Гоголя: просил Московского гражданского губернатора И.В. Капниста, которого Гоголь очень любил и уважал, уговорить его послушаться указаний медиков; ездил к митрополиту Филарету, чтобы тот подействовал больного. Владыка велел передать, что «сама Церковь повелевает в недугах предаться воле врача». Но ничего не помогло.

Граф Толстой, видя критическое положение, созвал консилиум, который подтвердил диагноз профессора А.И. Овера, что у Гоголя менингит, и принял решение лечить его насильно. Насильственное лечение, быть может, ускорило смерть Гоголя. Перед кончиной он дважды приобщился Святых Тайн и соборовался. Последнюю ночь был уже в беспамятстве. Елизавета Фоминична Вагнер, теща Погодина, на руках которой Гоголь скончался, свидетельствует: «...По-видимому, он не страдал, ночь был тих, только дышал тяжело; к утру дыхание сделалось реже и реже, и он как будто уснул...»

21 февраля, в четверг, около восьми утра, Гоголь умер. Доктор Тарасенков, прибывший через два часа после его смерти, писал об увиденном:

«Нельзя вообразить, чтобы кто-нибудь мог терпеливее его сносить все врачебные пособия, насильно ему навязываемые; лицо умершего выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную с собою за гроб».

Накануне, часу в одиннадцатом, Гоголь громко произнес: «Лестницу, поскорее давай лестницу!..» (Подобные же слова о лестнице сказал перед смертью святитель Тихон Задонский.)

Среди святых отцов наиболее близкими Гоголю по духу были Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Исаак Сирий. Но, пожалуй, на первом месте стоит преподобный Иоанн Лествичник. Известно, что «Лествица» была одной из любимых книг Гоголя. Доктор Тарасенков вспоминал: «...Он указал мне на сочинение Иоанна Лествичника, в котором изображены ступени христианского совершенства, и советовал прочесть его». По словам того же Тарасенкова, сочинение преподобного Иоанна Лествичника нравилось Гоголю «своими строгими правилами», и он «старался достигать высших ступеней, в нем описанных».

Действительно, еще в 1842 Гоголь писал Жуковскому: «...Живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях»; в 1843 Надежде Николаевне Шереметовой: «Долгое воспитанье еще предстоит мне, великая, трудная лестница».

В этом свете вся жизнь Гоголя, сопоставимая с монашеским подвигом, — мучительная борьба между духовными и художественными устремлениями, сожжение рукописей, попытка ухода в монастырь, в конечном итоге отказ от себя и мученическая кончина — предстает как образ духовной лестницы, постоянного восхождения, а произведения его являются некими ступенями на этом нелегком пути.

Тайна второго тома

После кончины Гоголя, в тот же день, прошел слух, что он сжег свои бумаги. Современники были уверены, что уничтожена рукопись второго тома «Мертвых душ». Была названа и дата сожжения — ночь на 12 февраля. Первым публично объявил о сожжении глав второго тома М.П. Погодин в некрологе Гоголя:

«Поутру он (Гоголь) сказал графу Толстому: “Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы “Мертвых душ”, которые хотел оставить друзьям на память после моей смерти”».

Но самого Погодина не было рядом с Гоголем в последние дни, он писал со слов графа Толстого. Перед публикацией Погодин послал ему рукопись некролога с запиской:

«Вот что я набросал. Сделайте милость, граф, поправьте, дополните, сделайте, что угодно, — но только, прошу вас, поскорее: книга моего журнала должна выйти завтра. Мне показалось, совестно пройти молчанием, — что мы за неучи, — но я ничего не знаю и написал только, что вы рассказали. Так вы и окончите ваше доброе дело».

Граф Толстой, просмотрев рукопись, писал Погодину:

«Думаю, что последние строки о действии и участии лукавого в сожжении бумаг можно и должно оставить (то есть оставить не напечатанными). Это сказано было мне одному без свидетелей: я мог бы об этом не говорить никому, и, вероятно, сам покойный не пожелал бы сказать это *всем*. Публика не духовник, и что поймет она об такой душе, которую и мы, близкие, не разгадали. Вот и еще замечание: последние строки портят всю трогательность рассказа о сожжении бумаг».

Остается открытым вопрос, что именно сжег Гоголь перед смертью. Догадки современников и позднейших биографов разноречивы. Большинство считало, что погибла беловая редакция второго тома «Мертвых душ». Были и другие предположения: уничтожены либо «Размышления о Божественной Литургии» (над которыми Гоголь работал в последние годы жизни), либо политически опасные бумаги, — вплоть до версии о том, что Гоголь вовсе ничего не сжигал, а рукописи были спрятаны графом Толстым. Все эти гипотезы не имеют документального подтверждения, тем более что мы даже не знаем, закончил ли Гоголь второй том.

О втором томе как завершенной рукописи говорит доктор Тарасенков: «“Литургия” и «Мертвые души» были переписаны набело его (Гоголя) собственною рукою, очень хорошим почерком». Это сообщение, по сути, является единственным аргументом в пользу утверждения, что Гоголь сжег законченный второй том. На него ссылаются, например, комментаторы академического издания. Однако Тарасенков, как и все другие мемуаристы, основывался в первую очередь на рассказах графа Толстого: он не мог видеть воочию рукописей второго тома, поскольку был приглашен к Гоголю 13 февраля (то есть сразу после сожжения), а тот принял его только 16-го. Впрочем, Тарасенков и не говорит, что видел рукописи, — этого не могло быть уже потому, что Гоголь тщательно оберегал свои бумаги от постороннего взгляда.

После смерти Гоголя разбиравшие его бумаги Капнист, граф Толстой и Шевырев обнаружили пять черновых тетрадей, содержащих пять неполных глав второго тома: четыре начальные главы, датируемые 1849–1850, и первоначальный набросок одной из последних глав (условно называемой пятой) более раннего происхождения. Уцелевшие тетради имеют несколько слоев правки. В текст в разное время вносились исправления карандашом и чернилами, превратившие рукопись мало-помалу в черновик для последующей переписки. Вся дальнейшая работа Гоголя остается нам неизвестной. Ни одной рукописи, ни одного текста последней редакции, кроме незначительных отрывков, до настоящего времени не обнаружено.

Характерно, что в воспоминаниях современников, слушавших в чтении Гоголя второй том, речь идет почти исключительно о начальных главах, то есть о тех, которые мы знаем по сохранившимся черновикам. Известно, что до отъезда из Москвы в Васильевку летом 1850 Гоголем были выправлены и переписаны набело три начальные главы, которые он читал знакомым. Примерно за полгода до этого он писал Плетневу: «Все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше, как набросаны; собственно написанных две-три и только».

Больше всех Гоголь прочел Шевыреву: до седьмой включительно. Но это были, по всей видимости, только наброски, во всяком случае, главы эти не были отделаны. 2 апреля 1852 Шевырев писал двоюродной сестре Гоголя М.Н. Синельниковой: «Из второго тома он читал мне <...> семь глав. Он читал их, можно сказать, наизусть, по написанной канве, содержа окончательную отделку в голове своей». Это чтение состоялось

в июле — начале августа 1851 на подмосковной даче Шевырева в селе Троицком или Кагулове по Рязанской дороге.

Последним, кто ознакомился с главами второго тома «Мертвых душ», был отец Матфей Константиновский. Вероятно, это произошло во время его последней встречи с Гоголем незадолго до сожжения рукописей. Ему нередко ставят в вину, что именно он подтолкнул писателя к этому. Отец Матфей отрицал, что Гоголь сжег второй том по его совету, хотя признавал, что несколько набросков не одобрил и даже просил уничтожить.

«Говорят, что вы посоветовали Гоголю сжечь 2-й том «Мертвых душ»? — «Неправда и неправда... Гоголь имел обыкновение сжигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстанавливать их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов 2-й том; по крайней мере, я не видал его. Дело было так: Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписаниями: *Глава*, так как обыкновенно писал он главами. Помню, на некоторых было написано: глава I, II, III, потом, должно быть, 7, а другие были без означения; просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочитал. <...> Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых... во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями».

Свидетельство отца Матфея крайне важно для нас потому, что это едва ли не единственный человек, который в то время был для Гоголя авторитетом, даже более — судьей его труда, приобретшего для самого автора не столько литературное, сколько духовно-нравственное значение. Трудно предположить, что Гоголь, имея законченный беловик, дал ему на суд разрозненные тетради с набросками.

Вероятно, и Шевыреву, и отцу Матфею были известны одни и те же главы, и, скорее всего, именно эти главы были уничтожены Гоголем.

Нам теперь не узнать истинного чувства, которое испытывал Гоголь, сжигая рукописи. Погодин в некрологической статье «Кончина Гоголя» вопрошал по поводу этого события:

«Было ль это действие величайшим подвигом христианского самоотвержения, самую трудную жертвою, какую может только принести наше самолюбие, или таился в нем глубоко сокрытый плод тончайшего самообольщения, высшей духовной прелести, или, наконец, здесь действовала одна жестокая душевная болезнь?»

На эти вопросы существуют разные ответы. Некоторые современники Гоголя считали, что он сжигал рукописи в минуту безумия. Этой версии придерживался писатель русского зарубежья К. Мочульский.

«Несомненно, — писал он, — что Гоголь совершил сожжение в состоянии умоиступления; очнувшись, он раскаивался в нем и плакал».

С таким мнением согласиться никак нельзя.

Решение Гоголя жечь рукописи не было внезапным. Вот как рассказывает об этом Погодин:

«Ночью, на вторник, он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. “Свежо”, — отвечал тот. “Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться”. И он пошел, со свечою в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришел, велел открыть трубу как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал пред ним на колени и сказал: “Барин, что вы это делаете!” — “Не твое дело, — отвечал он, — молись!” Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтоб легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю

свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. — «Иное надо было сжечь, — сказал он, подумав, — а за другое помолились бы за меня Богу; но Бог даст, выздоровею и все поправлю».

Это самый полный рассказ, основанный на свидетельствах гоголевского слуги Семёна и графа Толстого. Из него следует, что Гоголь сжигал рукописи после продолжительной молитвы, в его действиях не было ничего, что напоминало бы исступление.

Литературовед Василий Гиппиус высказал предположение, что сожжение явилось результатом роковой случайности. По его мнению, Гоголь не проверил содержимого перевязанной тесемкой пачки. Едва ли это так. Тем более что, по словам Шевырева, Гоголь отбирал бумаги: «некоторые откладывал в портфель, другие обрекал на сожжение. Эти последние велел мальчику связать трубкою и положить в камин».

Нередко можно встретить утверждение, что Гоголь жег рукописи в состоянии глубокого уныния, с сознанием как бы греховности своего творчества. Об этом писал в начале XX века русский философ-богослов С. Булгаков, по словам которого Гоголь «осудил свое художественное творчество как греховное». В опровержение подобного мнения можно привести слова отца Матфея. На вопрос о том, правда ли, что Гоголь сжег свои творения потому, что считал их греховными, он ответил: «Едва ли... Гоголь сожг, но не все тетради сожг, какие были под руками, и сожг потому, что считал их слабыми».

Версия, что Гоголь сжигал рукописи, будучи недоволен своим трудом именно как художник, имеет широкое распространение. Ее придерживался, например, такой авторитетный специалист, как академик Н. Тихонравов. По его словам, предсмертное сожжение «было сознательным делом художника, убедившегося в несовершенстве всего, что было выработано его многолетним мучительным трудом». Однако оценивать эстетическую, художественную сторону второго тома сложно уже потому, что мы имеем дело с черновыми главами и набросками. Поэтому нет причин говорить о неудаче творческого характера. Неизвестно, как сожженные главы выглядели бы в беловике. Ведь не оцениваем мы художественные достоинства черновики первого тома, — нет у нас на это права, — они не предъявлены автором читателю. И все же отметим, что слушавшие главы второго тома в чтении Гоголя в подавляющем большинстве отзывались о них очень высоко.

По свидетельству современников, окончательный текст отличался от тех черновики, которые дошли до нас. Отличия эти заключались главным образом в более тщательной отделке произведения. Однако, без сомнения, и сохранившиеся главы имеют высокие достоинства, являются своеобразным художественным завещанием Гоголя русской прозе второй половины XIX века. Знаменательно, что Чернышевский, вовсе не сочувствовавший позднему направлению Гоголя, писал в «Очерках гоголевского периода»:

«В уцелевших отрывках есть очень много таких страниц, которые должны быть причислены к лучшему, что когда-либо давал нам Гоголь...»

Гоголь, как и всякий писатель, конечно, испытывал сомнения, отчасти проверяя впечатление от вновь написанных вещей на слушателях. Однако наиболее строгим судьей для себя был он сам. И судил Гоголь свои произведения в свете Евангелия.

«Всякому человеку следует выполнить на земле призвание свое добросовестно и честно, — говорил он в 1850 году. — Чувствуя, по мере прибавленья годов, что за всякое слово, сказанное *здесь*, дам ответ *там*, я должен подвергать мои сочиненья несравненно большему соображенью и осмотрительности, чем сколько делает молодой, не испытанный жизнью писатель».

Гоголь хотел так написать свою книгу, чтобы из нее путь к Христу был ясен для каждого. Напомним его слова, сказанные по поводу сожжения второго тома в 1845:

«...Бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого».

Цели, поставленные Гоголем, далеко выходили за пределы литературного творчества. Невозможность осуществить свой замысел, столь же великий, сколь и несбыточный, становится его личной писательской трагедией.

Писатель в известных случаях имеет несчастье приносить вред и после смерти. Автор умирает, а произведение остается и продолжает губить души человеческие. Это прекрасно понимал Гоголь. В статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» он вспоминает басню Крылова «Сочинитель и Разбойник». Мораль этой басни угадывается в словах Гоголя из его «Завещания»: «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»

В сохранившихся главах второго тома помещик Костанжогло говорит:

«Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки. Пусть я буду перед Богом прав...» В этом речении слышится отзвук слов Спасителя: *«Горе миру от соблазнов: ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит»* (Мф. 18, 7).

Святитель Филарет, митрополит Московский, толкуя это евангельское изречение, пишет:

«...Воистину плачевен грех и страшен, но соблазн более. Грех мой, при помощи благодати Твоя, могу я прекратить и покаянием очистить; но соблазна, если он виною моею подан и перешел к другим, уже не властен я ни прекратить, ни очистить».

Без сомнения, боялся писать на соблазн ко греху и Гоголь. В последнее десятилетие своей жизни он мало ценил прежние свои сочинения, пересматривая их глазами христианина. В предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями» Гоголь говорит, что своей новой книгой он хотел искупить бесполезность всего, доселе им написанного. Эти слова вызвали немало нареканий и побудили многих думать, что Гоголь отрекается от своих прежних произведений. Между тем совершенно очевидно, что о бесполезности своих сочинений он говорит в смысле религиозном, духовном, ибо, как пишет далее Гоголь, в письмах его, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, чем в его сочинениях.

«Обращаться с словом нужно честно, – говорил Гоголь. – Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю <...> когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желаньем добра можно произвести зло».

Талант, данный ему Богом, Гоголь хотел направить для прославления Бога и на пользу людям. И чтобы достичь этого, он должен был очистить себя молитвой и истинно христианской жизнью. Преображение русского человека, о котором мечтал Гоголь, совершалось в нем самом. Жизнь его сливалась с его писаниями.

Зародыши тех страстей, которые довели его героев до их ничтожества и пошлости, Гоголь находил в себе. В 1843, отвечая на вопрос одного из своих друзей, отчего герои «Мертвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, Гоголь говорит:

«...Герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души» («Четыре письма к разным лицам по поводу “Мертвых душ”»). И далее замечает: «Не думай, однако же <...> чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог».

В то время как большая часть читателей потешалась над его героями, считая себя неизмеримо выше их, Гоголь страдал и томился, понимая, что и он несовершенен.

Одним из немногих, кто, по-видимому, понимал смысл предсмертной трагедии Гоголя, был его духовный отец, ржевский протоиерей Матфей Константиновский.

«С ним повторилось обыкновенное явление нашей русской жизни. Наша русская жизнь немало имеет примеров того, что сильные натуры, наскучивши суетой мирской или находя себя неспособными к прежней широкой деятельности, покидали все и уходили в монастырь искать внутреннего умиротворения и

очищения <...> Так было и с Гоголем. Он прежде говорил, что ему “нужен душевный монастырь”, а пред смертью он еще сильнее пожелал его».

Завещание

После кончины Гоголя в его бумагах были обнаружены обращение к друзьям, наброски духовного завещания, молитвы, написанные на отдельных листках, предсмертные записи.

Молюсь о друзьях моих. Услыши, Господи, желанья и моления их. Спаси их, Боже. Прости им, Боже, как и мне, грешному, всякое согрешенье пред Тобою.

Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник.

Помилуй меня, грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственную силу неусловимого Креста!

Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок? И страшная История Всех событий Евангельских...

Гоголь завещал сестрам открыть в своей деревне приют для бедных девиц и, по возможности, превратить его в монастырь и просил: «Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались».

Сороковой день по кончине Гоголя пришелся на понедельник Светлой седмицы (Пасха в 1852 праздновалась 30 марта). У могилы Гоголя на кладбище Свято-Данилова монастыря собрались его друзья и почитатели — Шевырев, Аксаков, Погодин, Самарин, Хомяков, Киреевский, Островский и другие — всего около сорока человек. После заупокойной обедни была отслужена панихида по усопшему рабу Божьему Николаю.

«Утешением было в нашем горе, – вспоминал Шевырев, – слышать воскресный колокол вместе с заупокойным пением. На могиле его, убранный зеленью и цветами среди снега, мы слышали: “Христос Воскресе!”»

После панихиды предложена была трапеза шестидесяти бедным и монашествующей братии. На поминальном обеде в покоях настоятеля архимандрита Пармена Шевырев прочел «Светлое Воскресение» — последнее напечатанное при жизни произведение Гоголя. Все были тронуты до слез.

«Можете себе представить, – рассказывал Погодин, – какую силу получило каждое его слово, само по себе сильное, теперь послышавшееся из могилы, запечатленное великой печатью смерти и бессмертия, священный голос с того света».

Поэт и переводчик Н.В. Берг вспоминал:

«Немного таких мгновений, какие мы пережили там, дается человеку на земле!»

В этот день впервые столь светло и победно прозвучало духовное слово Гоголя, в первый раз единодушно и сердечно воспринятое друзьями его.

Кончина Гоголя примирила рассорившихся было Аксакова и Шевырева, Самарина и Погодина. Последний записал в своем дневнике 29 марта 1852:

«А есть, действительно, в смерти Гоголя что-то примиряющее и любовное».

Уместно вспомнить здесь слова Гоголя, обращенные к графу Толстому в статье «Занимающему важное место», запрещенной цензурой и увидевшей свет только после смерти автора:

«Я даже уверен, что когда буду умирать, со мной простятся весело все меня любившие: никто из них не заплачет и будет гораздо светлее духом после моей смерти, чем при жизни моей».

Во время поминальной трапезы обдумывали, какой памятник поставить Гоголю.

«Две надписи встретили всеобщее сочувствие, – вспоминал Шевырев. – Одна относится к нему как к писателю и взята из пророка Иеремии: “Горьким словом моим посмеюся”. Другая — к любимым мыслям последнего десятилетия его жизни. В ней выражается средоточие всех его мыслей: “Ей, гряди, Господи Иисусе!”»

Предполагаемые надписи на гоголевском памятнике были предложены Шевыревым; во всяком случае, первая из них — из пророка Иеремии (20, 8): *«Горьким словом моим посмеюся»*. Этот стих из Священного Писания, помещенный на надгробной плите из черного мрамора и ныне наиболее часто цитируемый, по словам писателя П. Паламарчука, «замечательно отразил союз художественной правды с пророчеством служением, в котором сам Гоголь видел смысл своего творчества». Слова *«Ей, гряди, Господи Иисусе»* взяты из Апокалипсиса (22, 20), впоследствии были выбиты на надгробном камне Гоголя (так называемой Голгофе) и выражают, без сомнения, самое главное в его жизни и творчестве, особенно последнего десятилетия: стремление к стяжанию Духа Святого и приготовление своей души к встрече с Господом.

Сразу после смерти Гоголя граф Толстой послал в Оптину Пустынь извещение и пятнадцать рублей серебром на помин души новопреставленного. Помня завет Гоголя, граф всю оставшуюся жизнь поддерживал дружеские связи с обителью.

Посмертная связь Гоголя с Оптиной продолжалась. Летом 1852 Шевырев, возвращаясь из Васильевки, куда он ездил навестить родных писателя, заезжал в монастырь, где прочел его насельникам «Размышления о Божественной Литургии». Оптиные иноки, хорошо помнившие Гоголя, нашли это сочинение «запечатленным цельностью духа и особенным лирическим взглядом на предмет».

В следующем году, в Троицкую родительскую субботу (Радоницу), когда совершается пасхальное поминовение усопших, Мария Ивановна послала в монастырь письмо и деньги. Она была в Оптиной на Пасху 1857 и прожила там девять дней со своим внуком Николаем. Господь призвал к Себе родительницу Гоголя в возрасте семидесяти шести лет, как и его отца, — на Светлой седмице.

В заключение приведем слова, сказанные новомучеником протоиереем Иоанном Восторговым на панихиде по Гоголю в 1903, в которых ясно видится смысл его духовного значения.

«Вот писатель, у которого сознание ответственности пред высшею правдою за его литературное слово дошло до такой степени напряженности, так глубоко охватило все его существо, что для многих казалось какою-то душевною болезнью, чем-то необычным, непонятым, ненормальным. Это был писатель и человек, который правду свою и правду жизни и миропонимания проверял только правдою Христовой. <...> Такие творцы по своему значению в истории слова подобны святым отцам в Православии: они поддерживают благочестные и чистые литературные предания».

Литературное значение Гоголя огромно. Его именем называют целый период русской литературы. И все-таки в сознании современников и последующих поколений он вошел прежде всего как образец русского писателя, живущего мыслью о личной ответственности за то дело, к которому призван.